

Азбука
PREMIUM
РУССКАЯ ПРОЗА

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Взгляни
на арлекинов!



Санкт-Петербург

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44
Н 14

Vladimir Nabokov
LOOK AT THE HARLEQUINS!
Copyright © 1974, Dmitri Nabokov
All rights reserved

Перевод с английского Андрея Бабикова

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Набоков В.

Н 14 Взгляни на арлекинов! : роман / Владимир Набоков ; пер. с англ. А. Бабикова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 352 с. — (Азбука Premium. Русская проза).

ISBN 978-5-389-17186-2

В своем последнем завершенном романе «Взгляни на арлекинов!» (1974) великий художник обращается к теме таинственного влияния любви на искусство. С небывалым азартом и остроумием в этих «зеркальных мемуарах» Набоков совершает то, на что еще не отваживался ни один писатель: превращает собственную биографию в вымысел, бурлеск, арлекинаду, заставляя своего героя Вадима Вадимовича N. проделать нелегкий путь длиною в жизнь, чтобы на вершине ее обрести истинную любовь, реальность, искусство.

Издание снабжено послесловием и подробными примечаниями переводчика, а также письмами Веры и Владимира Набоковых об этом романе.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

- © А. А. Бабилов, перевод, послесловие, примечания; перевод фрагментов писем, Основные события и даты жизни, 2015
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-17186-2

Посвящается моей жене

ДРУГИЕ КНИГИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Тамара, 1925

Пешка берет королеву, 1927

Полнолуние, 1929

Камера люцида («Расправа под солнцем»
в английском переводе), 1931

Красный цилиндр, 1934

Подарок отчизне, 1950

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

See under Real («Подробнее см. „Истинная“»), 1939

Esmeralda and Her Parandrus

(«Эсмеральда и ее парандр»), 1941

Dr. Olga Pepnin («Д-р Ольга Репнина»), 1946

Exile from Mayda («Изгнание с Майды»), 1947

A Kingdom by the Sea («Княжество у моря»), 1962

Ardis («Ардис»), 1970

Часть первая

1

Первую из трех или четырех своих жен, сменявших одна другую, я встретил при довольно необычных обстоятельствах: события развивались, как неуклюжий тайный сговор, с никчемными подробностями и главным крамольником, не только не имевшим представления относительно его истинной цели, но еще настаивавшим на совершении бессмысленных действий, исключавших, казалось бы, малейшую возможность успеха. Вопреки этим ужасным промахам, ему каким-то чудом удалось сплести паутину (в которую я угодил из-за серии собственных ответных оплошностей) и тем самым исполнить предначертанное, в чем и состояла единственная цель того заговора.

Как-то во время весеннего триместра моего последнего года в Кембридже (1922) я согласился, «будучи русским», разъяснить кое-какие тонкости в устройстве гоголевского «Ревизора». Его готовила к постановке, в английском переводе, театральная группа «Светлячок», руководимая Айвором Блэком, талантливым актером-любителем. У нас был общий наставник в Тринити-колледже, и он едва не свел меня с ума, без конца изображая жеманные ужимки старика, — спектакль, продолжавшийся почти все время, что мы завтракали в «Питте». Короткая деловая часть разговора вышла

еще менее приятной. Айвор Блэк намеревался облачить гоголевского Городничего в пижаму, поскольку «вся пьеса ведь не что иное, как дурной сон старого пройдохи, и разве ее русское название, „Ревизор“, не происходит от французского *gêve*, сон?». Я сказал, что, на мой взгляд, это кошмарная идея.

Если и были репетиции, они прошли без моего ведома. Собственно, как мне только что пришло в голову, я не уверен даже в том, что его постановка когда-либо предстала перед огнями рампы.

Вскоре после этого я встретился с Айвором Блэком во второй раз — на какой-то вечеринке, во время которой он пригласил меня и еще пятерых других человек провести лето на Лазурном Берегу в имении, которое, как он сказал, ему только что досталось в наследство от его престарелой тетки. Он тогда едва стоял на ногах и неделю спустя, накануне своего отъезда, выглядел весьма озадаченным, когда я напомнил ему о его дивном приглашении, каковое, как оказалось, лишь я один и принял. «Мы с тобой — двое никому не нужных сирот, — заметил я, — и нам лучше держаться вместе».

Болезнь заставила меня провести в Англии весь следующий месяц, и только в начале июля я послал Айвору Блэку вежливую открытку с извещением, что я могу прибыть в Канн или Ниццу в какой-либо из дней на следующей неделе. Я почти уверен, что упомянул субботу, вторую половину дня, как наиболее подходящее мне время приезда.

Попытки телефонировать со станции ни к чему не привели: линия непрерывно была занята, а я не из тех, кто упорствует в борьбе с дефектными абстракциями пространства. Однако мой полдень был испорчен, притом что полуденное время у меня любимый пункт

в повестке дня. В начале своего долгого путешествия я убедил себя, что мне уже много лучше; теперь мое состояние было ужасным. День выдался не по сезону пасмурным и унылым. Пальмы же не раздражают только в миражах. По какой-то причине таксомоторов, как в дурном сне, было не сыскать. В конце концов я забрался в маленький, провонявший автокар из синей жести. Поднимаясь по петливой дороге, со столькими же поворотами, сколько было и остановок «по требованию», штуковина на колесах дотащила до моей цели за двадцать минут — и приблизительно за то же время я бы добрался туда пешком с побережья по легкому короткому пути, который я тем волшебным летом выучил наизусть: камень за камнем, ракитник за акатником. Было все, что угодно, кроме волшебства, во время этой угнетающей поездки! Я согласился приехать главным образом в надежде утихомирить в «лощенных волнах» (Беннетт? Барбеллион?) нервное расстройство, окаймлявшее безумие. Теперь же левая половина моей головы превратилась в кегельбан боли; с правой стороны, из-за спинки переднего кресла на меня поверх материнского плеча глазело тупое дитя. Я сидел рядом с покрытой бородавками женщиной в плотных черных одеждах и сглатывал тошноту, качаясь между зеленым морем и серой скалой. К тому времени, как мы наконец доехали до деревни Карнаво (облезлые стволы платанов, живописные лачуги, почта, церковь), все мои мысли сосредоточились на одном золотистом образе: бутылке виски в моем саквояже, которую я вез в подарок Айвору Блэку и которую я поклялся откупорить прежде, чем он заприметит ее. Шофер оставил без внимания мой вопрос, но похожий на черепаху маленький пастор с огромными ступнями, сходявший первым, ука-

зал, не глядя на меня, на боковую аллею. До виллы «Ирис», сказал он, три минуты ходьбы. Лишь только я взялся за два своих чемодана, чтобы двинуться по этому проулку к треугольнику неожиданно выглянувшего солнца, как на противоположном тротуаре показался мой предполагаемый хозяин. Помню — и это полвека спустя! — что я вдруг усомнился, а подходящие ли вещи я взял с собой? На нем были брюки гольф и грубые башмаки, но несообразно с этим недоставало чулок, и обнаженные части голеней были отчаянно-красными. Он шел на почту или сделал вид, будто идет на почту, чтобы послать мне телеграмму с просьбой отложить свой приезд до августа, когда служба, которую он только что получил в Каннице, не будет более препятствовать нашим увеселениям. Сверх того, он надеялся, что Себастьян — кем бы он ни был — все еще сможет приехать к сезону винограда или на бал лаванды. Бормоча все это себе под нос, он взял у меня меньшую часть моего багажа — небольшой чемодан, в котором были мои туалетные принадлежности, медикаменты и почти заверченный венк сонетов, посланный вскоре в один парижский эмигрантский журнал. Затем он схватил и саквояж, который я поставил, чтобы набить трубку. Полагаю, что такая повышенная внимательность к мелочам объясняется тем, что они случайно оказались в освещении передовых лучей грядущего великого события. Айвор нарушил молчание и, хмурясь, добавил, что он счастлив принимать меня в своем доме, но что он должен меня кое о чем предупредить — о чем следовало сказать еще в Кембридже. К концу недели я, должно быть, взвою от тоски из-за одного грустного обстоятельства. Его бывшая гувернантка, мисс Грант, бессердечная, но умная особа, любила повторять, что его младшая

сестра никогда не сможет нарушить правило, гласящее, что «детей не должно быть слышно», да, собственно, никогда это правило и не услышит. Грустное обстоятельство состояло в том, что его сестра — впрочем, он лучше отложит изложение ее случая до тех пор, пока мы не доберемся с поклажей до дома.

2

«Что за детство было у *тебя*, Макнаб?» (Как Айвор упрямо продолжал меня называть, поскольку, как ему казалось, я имел внешнее сходство с одним болезненным, хотя и смазливый молодым актером, взявшим себе этот псевдоним в последние годы своей жизни, или, точнее, своей славы.)

Чудовищное, невыносимое. Должен существовать всепланетный, междупланетный закон против такого нечеловеческого зачина жизни. Если бы в возрасте девяти или десяти лет на смену моим патологическим страхам не пришли более абстрактные и избитые тревоги (проблемы бесконечности, вечности, личности и т. п.), я бы утратил рассудок задолго до того, как обрел свои рифмы. Я говорю не о темных комнатах, или однокрылых агонизирующих ангелах, или длинных коридорах, или кошмаре зеркал, с отражениями, стекающими грязными лужицами на пол, о нет, не *такого* рода опочивальня ужасов была у меня, но, проще и куда страшнее, мне не давала покоя некая тайная и прочная связь с иными состояниями бытия, не именно «предшествующими» или «грядущими», а вовсе вне границ и пределов, говоря языком смертных. Я узнал больше, много больше об этих ноющих сочлененьях только несколько десятилетий спустя, так что «не будем торопить события», как сказал приговоренный

к смертной казни, отвергая засаленную наглазную повязку.

Услады юности даровали мне временное облегчение. Я был избавлен от угрюмого периода самооблажения. Будь благословенна моя первая незабвенная любовь, дитя в вертограде, пытливые забавы — и пять ее расставленных пальцев, с которых капают жемчужины изумления. Домашний учитель позволил мне разделить вместе с ним инжению из частного театра моего двоюродного деда. Две молодые развратные леди нарядили меня однажды в кружевную женскую сорочку и парик Лорелеи и, как в скабресной новелле, уложили «маленькую стыдливую кузину» спать между собой, пока их мужья храпели в соседней комнате после кабаньей охоты. Усадьбы разных родичей, у которых я время от времени гащивал в своей ранней юности под палевыми летними небесами в той или иной губернии прежней России, предоставляли в мое распоряжение столько податливых горничных и светских кокеток, сколько чуланов и будуаров можно было испробовать двумя столетиями раньше. Словом, если годы моего отрочества могли бы послужить предметом для диссертации, способной принести какому-нибудь педопсихологу пожизненную славу, моя юность, с другой стороны, могла бы преподнести, и, в общем, преподнесла, урожай немалого числа эротических пассажей, рассыпанных здесь и там, как подгнившие сливы и потемневшие груши, в книгах стареющего романиста. Собственно, ценность настоящих мемуаров в значительной мере в том и состоит, что они являют собой *catalogue raisonné* источников и начал и своеобразных родовых каналов для многих тем и мотивов моих русских и особенно английских книг.

С родителями я видался редко. Они разводились, вновь женились и разводились столь стремительно, что, если бы хранители моего состояния были хоть чуточку менее бдительны, меня бы в конце концов спустили с молотка чете каких-нибудь неизвестных родственников по шведской или шотландской боковой линии — со скорбными мешочками под голодными глазками. Моя двоюродная бабушка, баронесса Бредова, урожденная Толстая, женщина незаурядная, с лихвой заменяла мне более близкую родню. Ребенком семи или восьми лет, уже таившим в себе зачатки законченного безумца, я даже ей, которая сама была далека от нормы, казался чересчур уж мрачным и апатичным; на деле я, разумеется, всю предавался самым неистовым фантазиям.

«Будет тебе киснуть! — восклицала она бывало. — Взгляни на арлекинов!»

«Каких арлекинов? Где?»

«Ах, да повсюду. Вокруг тебя. Деревья — арлекины, слова — арлекины. А также числа и ситуации. Сложи вместе две вещи — курьезы, отраженья, — и ты получишь арлекинов втрое больше. Давай же! Играй! Создавай мир! Твори реальность!»

И я творил. Клянусь Богом, я творил. В память о своих первых фантазиях я сотворил эту свою двоюродную бабушку, и теперь, сходя по мраморным ступеням парадного крыльца памяти, она медленно приближается, бочком, бочком, несчастная хромя дама, пробуя край каждой ступени резиновым наконечником своей черной трости.

(Когда она выкрикнула три этих слова — «Взгляни на арлекинов!», — они прозвучали стихотворной скороговоркой, слегка невнятно, и так, как если бы «зглянина», созвучная с «ангиной», нежно и вкрадчиво

подготавливала появление этих задорных арлекинов, у которых ударная «ки», подчеркнутая ею в порыве вдохновенного убеждения, была как звонкая монетка среди конфетти безударных слогов.)

Мне было восемнадцать, когда грянула большевистская революция — глагол сильный и неуместный, согласен, примененный здесь исключительно ради ритма повествования. Рецидив моего детского нервного расстройства продержал меня в Императорской санатории в Царском большую часть зимы и весны. В июле 1918 года я оправлялся от болезни, уже находясь в замке своего дальнего родственника, польского землевладельца Мстислава Чарнецкого (1880–1919?). Как-то осенним вечером юная возлюбленная бедного Мстислава показала мне сказочную тропу, вьющуюся через дремучий лес, в котором первый из Чарнецких пронзил копьем последнего зубра при Яне III (Собеском). Я пустился в путь по этой тропе с рюкзаком за спиной и — почему не признаться? — с тревогой и муками раскаяния в юном сердце. Хорошо ли я поступил, бросив кузена в чернейший год черной русской истории? Знал ли я, как прожить одному в чужой стороне? Был ли диплом, выданный мне особой комиссией (возглавляемой отцом Мстислава, почтенным и продажным математиком), спросившей меня по всем предметам того идеального лица, в котором я во плоти ни разу не побывал, пригодным для принятия в Кембридж без всяких inferнальных вступительных экзаменов? Всю ночь я брел через лунный лабиринт, воображая шорохи вымерших зверей. Наконец лучи зари раскрасили киноварью мою древнюю карту. Когда я решил, что уже, должно быть, пересек границу, меня окликнул красноармеец с монгольским лицом и непокрытой головой, прямо у тро-

пы обиравший кусты черники. «Эх, яблочко, куда ж ты котишься? — окликнул он меня и, подхватывая с пенька фуражку, приказал: — Показывай-ка документики».

Я полез в карманы, выудил то, что было нужно, и застрелил его наповал, когда он ринулся ко мне; он упал навзничь, как сраженный солнечным ударом солдат на плацу — к ногам своего короля. Ничьи глаза из-за плотного ряда деревьев не видели того, что я сделал, и я бросился бежать, все еще сжимая в руке прелестный миниатюрный револьвер Дагмары. Только полчаса спустя, когда я вышел наконец на другую сторону леса, уже в более или менее приемлемой республике, только тогда поджилки у меня перестали трястись.

После периода праздного шатания по не задержавшимся в памяти немецким и голландским городам я перебрался в Англию. Моей следующей остановкой был маленький лондонский отель «Рембрандт». Несколько мелких бриллиантов, хранившихся у меня в замшевом мешочке, истаяли быстрее градин. В серый канун наступавшей нищеты автор, в ту пору добровольно покинувший родину юноша (переписываю из старого дневника), неожиданно-негаданно обрел покровителя в лице графа Старова, важного старосветского масона, который во времена обширных международных сношений украшал собой несколько великих посольств, а с 1913 года осел в Лондоне. Он говорил на родном языке с педантической точностью, не пренебрегая случаем вернуть звучное простонародное словцо. Чувство юмора у него отсутствовало напрочь. Прислуживал ему молодой мальтиец (терпеть не могу чай, а спросить бренди я не решился). По слухам, Никифор Никодимович, если воспользоваться име-

нем, данным ему при крещении, вкупе со столь же неблагозвучным отчеством, годами вздыхал по моей матушке, эксцентричной красавице, о которой я имею представление главным образом из шаблонных описаний в анонимных мемуарах. Grande passion порой служит лишь удобной отговоркой; с другой стороны, одним только благородным почитанием ее памяти и можно объяснить, почему он взял на себя расходы по моей учебе в Англии и оставил мне после своей смерти в 1927 году небольшое денежное пособие (большевицкий соуп разорил его так же, как и все наше семейство). Должен отметить вместе с тем, что мне бывало не по себе от быстрых пламенных взглядов его обычно мертвенных глаз, помещавшихся на широком, сыром, благообразном лице того типа, который у русских писателей было принято определять как «тщательно выбритое» — несомненно, оттого, что призрачные патриархальные бороды все еще развевались в воображении читателей (теперь давно почивших). Я старался изо всех сил в своем стремлении применить эти портретные проблески к розыскам некоторых индивидуальных черт элегантной женщины, которой он как-то раз помог подняться в *salèche* и следом за которой, подождав, пока она устроится и раскроет parasol, грузно взошел сам и сел рядом в этой рессорной коляске; в то же время я не мог запретить себе гадать, удалось ли моему дряхлому grandee избежать той формы разврата, что некогда была столь естественна в так называемых высших дипломатических кругах. Н. Н. сидел в покойном кресле, как герой многотомного романа, положив одну дородную длань на подлокотник, сделанный в виде грифона, другой же рукой с перстнем он вертел на турецком столике, стоявшем подле него, то, что можно было принять за серебря-

ную табакерку, содержащую, однако, не табак, а небольшой запас похожих на жемчужинки крохотных разноцветных пилюль от кашля — сиреневых, зеленых и, насколько помню, коралловых. Стоит прибавить, что кое-какие сведения, много позже полученные мной, открыли мне, как гнусно я заблуждался, приписывая ему что-то такое, что выходило за рамки его квазиотеческого внимания ко мне — как и к другому юноше, сыну одной скандально известной санкт-петербургской кокоетки, которая *calèche* предпочитала электрический «брогáм»; впрочем, довольно этого сахаристого бисера.

3

Вернемся в Карнаво, к моему багажу, к Айвору Блэку, с показным усердием несущему его, ворча что-то комично-невнятное из какой-то зачаточной роли.

Когда мы вошли в сад, отделенный от дороги сложенной из камней стеной и рядом кипарисов, солнце уже полностью восстановило свои права. Эмблематические ирисы окружали зеленый прудик, над которым восседала бронзовая лягушка. Из-под курчавого каменного дуба брала начало гравием посыпанная дорожка, бежавшая далее меж стволов двух апельсиновых деревьев. Стоявший на другом краю лужайки эвкалипт отбрасывал крапчатую тень на парусину шезлонга. Это не чванливость фотографической памяти, а попытка любовного воссоздания картины, основой для которой послужили пожелтевшие снимки из старой конфетной коробки с флорентийским ирисом на крышке.

Не стоит подниматься по трем ступеням парадного крыльца, «волоча две тонны камней», сказал Айвор

Блэк: запасной ключ он прихватить забыл, прислуги, чтобы откликаться на дверные звонки по субботам, у него нет, а с его сестрой, как он уже объяснил, обычным манером снести невозможно, хотя она должна быть где-то внутри, рыдает, наверное, у себя в спальне, как обычно, когда ожидаются гости, все равно какие, но особенно те любители «отдыха выходного дня», что приезжают на уик-энд, а потом околачиваются тут чуть не до вторника. И мы пошли кругом дома, обсаженного кустами опунции, цеплявшей за висевший у меня на руке макинтош. Вдруг раздался страшный, нечеловеческий крик, и я взглянул на Айвора, но нахал только ухмыльнулся.

То был крупный лимонногрудый, индигово-синий ара с белыми, в полоску щечками, время от времени пронзительно вскрикивавший на своем насесте у безрадостного заднего крыльца. Айвор прозвал его Матой Хари, отчасти из-за его акцента, но главным образом из-за его политического прошлого. Покойная тетка Айвора, леди Вимберг, будучи уже немного гагой, году в четырнадцатом или пятнадцатом приютила эту трагическую старую птицу, которую, как рассказывали, бросил некий таинственный незнакомец со шрамами на лице и моноклем. Она могла сказать «алло», «Отто» и «па-па» — бедноватый словарь, наводивший отчего-то на мысли о небольшой беспокойной семье в жаркой стране, далеко от дома. Порой, когда я засиживаюсь за работой до позднего часа и тайные агенты рассудка прекращают транслировать сообщения, пущенное в ход неверное слово отзывается чем-то схожим с сухим бисквитом, зажатым в огромной медленной лапе попугая.

Не могу припомнить, видел ли я Айрис до обеда (хотя, возможно, я краем глаза заметил ее, стоявшую

у витражного окна на лестнице, спиной ко мне, когда я, покинув *salle d'eau* с его запинаяющимся ватер-клозетом, прошмыгнул обратно через лестничную площадку в свою убого обставленную комнату). Айвор предусмотрительно уведомил меня, что его сестра глухонемая и к тому же такая стыдливая, что даже теперь, в двадцать один год, не в силах заставить себя выучиться читать по мужским губам. Вот это показалось мне странным. Я всегда полагал, что физический недостаток, о котором шла речь, включает пациента в абсолютно надежную оболочку, прозрачную и прочную, как небьющееся стекло, внутри которой ни притворство, ни потворство существовать не могут. Брат и сестра общались на языке знаков, пользуясь азбукой, придуманной ими еще в детстве и с тех пор выдержавшей несколько новых исправленных изданий. То, что было предъявлено мне, состояло из смехотворно-вычурных жестов того сорта барельефной пантомимы, которая скорее подражает вещам, чем отражает их. Я позволил себе встрять с некоторыми собственными гротескными дополнениями, но Айвор сурово остерег меня валять дурака: ее легко было обидеть. И все это (включая угрюмую служанку, старую каницианку, гремевшую посудой где-то за сценой) имело отношение к другой жизни, другой книге, к миру безотносительно кровосмесительных забав, за создание которого я еще сознательно не принимался.

Оба были молодыми людьми среднего роста и исключительно ладного сложения. Родственное сходство их было очевидным, хотя Айвор имел вполне обычную наружность, русоволосый, веснушчатый, а она была смуглой красавицей с черными, коротко остриженными волосами и глазами как прозрачный мед. Не могу вспомнить, какое именно на ней было

платье в нашу первую встречу, но уверен, что ее тонкие руки были обнажены и больно терзали мои чувства, пока она рисовала в воздухе все эти пальмовые роци и кишасие медузами острова, а Айвор передавал мне содержание ее узоров с идиотскими ремарками «в сторону». Я получил свой реванш после обеда. Айвор ушел за моим виски. Мы с Айрис стояли на веранде в безгрешных лучах заката. Я раскуривал трубку, а она оперлась бедром о балюстраду и указывала с русалочьей плавностью — предположительно изображая волны — на мерцание береговых огней вдоль склонов китайской тушью нарисованных холмов. В эту минуту за нашей спиной, в гостиной, загремел телефон, и она резко повернулась, но с восхитительным самообладанием превратила свой порыв в непринужденный «танец с шалью». Тем временем Айвор уже скользил по паркету к аппарату, чтобы послушать, что понадобилось Нине Лесерф или кому-то еще из соседей. В закатную пору нашей близости мы с Айрис с удовольствием вспоминали эту сцену разоблачения — как Айвор принес нам стаканы и предложил тост за ее чудесное исцеление, как она, несмотря на присутствие брата, положила свою легкую ладонь на костяшки моих пальцев: я стоял, схватившись за балюстраду, преувеличенно негодуя, и не был достаточно поворотлив, бедный одураченный юноша, чтобы принять ее извинения, приложившись губами к этой ее кисти на континентальный манер.

4

Привычный симптом моего недуга, не самый грозный, но тот, что труднее всего одолевать после каждого нового повторения, относится к тому типу, который

лондонский эксперт Муди первым назвал синдромом «числового ореола». Описание моего заболевания недавно было переиздано в собрании его трудов. Там полным-полно смехотворных неточностей, и этот его «ореол» решительно ничего не значит. «Господин Н., русский аристократ» *не* выказывал никаких «признаков вырождения». Ему было не «32», а «22» года, когда он обратился к этой дутой знаменитости. Но самое глупое, это то, что Муди смешал меня с г-ном В. С., самозванцем, чей «случай» нельзя назвать даже постскриптумом к сокращенному описанию *моего* «ореола» и чьи ощущения мешаются с моими на всем протяжении этой «научной» статьи. И хотя описать упомянутый синдром нелегко, полагаю, у меня выйдет получше, чем у профессора Муди или моего вульгарного и болтливового собрата по несчастью.

Итак, вот что со мной происходило в худшем случае. Спустя час или около того, как я засыпал (обычно порядком за полночь и не без кроткой поддержки стаканчика-другого доброй медовухи или шартрѐза), я вдруг просыпался (или, вернее, «рассыпался»), охваченный внезапным умоисступлением. Одного лишь намека на слабую световую полосу в поле моего зрения было довольно, чтобы спустить курок чудовищной боли, разрывавшей мне мозг. При этом не имело значения, насколько усердно я смыкал после старательной прислуги шторы и створки — неизбежно оставалась какая-нибудь чертова щелка, какой-нибудь атом или сумрачный лучик искусственного уличного или естественного лунного света, угрожавшего мне неописуемой бедой, когда я, жадно хватая воздух, выныривал из толщи удушливого сновидения. По всей длине тусклой щели с гнетуще осмысленными интервалами сочились более яркие точки. Эти точки, воз-

можно, соотносились с бешеным биением моего сердца или были оптически связаны с мерцанием в моих влажных веках, однако дело вовсе не в поиске разумных объяснений; их жуткое назначение состояло в том, чтобы я посреди беспомощной паники осознал, что уже глупейшим образом проморгал наступление припадка, что он теперь неминуемо захлестнет меня и что я могу спастись, лишь разрешив загадку их пророческой игры, которую, без сомнения, можно было решить, возьмись я за нее чуточку заранее или не будь я таким сонным и тупоумным в эту критическую минуту. Сама же задача относилась к разряду вычислительных: следовало высчитать определенные соответствия между мерцающими точками — в моем положении, скорее, угадать их, поскольку оцепенение не позволяло мне вдумчиво их сосчитать, не говоря уж о том, чтобы вывести *спасительно-верную* сумму. Ошибка означала немедленную казнь — отсечение головы великаном или что-то похлеще; правильный ответ, напротив, позволил бы мне бежать в зачарованный край, начинавшийся сразу за узкой брешью, через которую я должен был протиснуться в терниях сомнений. Этот край в своей идиллической отвлеченности напоминал те крохотные пейзажи, что гравировались в качестве многообещающих виньеток — берег, боскет — рядом с заглавными буквами устрашающей, звериной формы, вроде готической «Б», начинавшей главу в старинных книжках для пугливых детей. Как же я мог дознаться, ошеломленный, измученный, что в *этом-то* и состояло простое решение, что и берег, и бор, и близость безвременной Бездны, все они открываются начальной буквой Бытия?

Конечно, бывали и такие ночи, когда сознание тут же возвращалось ко мне, и я, поплотнее задернув што-

ры, вновь засыпал. Но в иные, более суровые времена, когда я был еще далек от исцеления и в полной мере страдал от своего аристократического ореола, мне требовалось несколько часов, чтобы избыть оптический спазм, который даже дневные лучи не могли рассеять. Не бывало такого случая, чтобы первая ночь на новом месте не оказалась ужасной и за нею не следовал бы отвратительный день. Меня терзала невралгия, я был раздражен, прыщеват и небрит, — и отказался пойти вместе с Блэками на пляжную вечеринку, на которую, как мне сказали, я тоже был приглашен. Впрочем, мои впечатления о тех первых днях на вилле «Ирис» так основательно исковерканы в моем дневнике и так расплывчаты в памяти, что я не могу утверждать, к примеру, что Айрис и Айвор не отсутствовали до середины недели. Вместе с тем я помню, что они были настолько любезны, что записали меня на прием к канническому доктору. Я не мог упустить чудную возможность сопоставить некомпетентность лондонского корифея с невежеством местного светила.

Принимал меня профессор Юнкер, сдвоенный персонаж, состоявший из мужа и жены. Они практиковали вместе уже лет тридцать и каждое воскресенье в уединенном и оттого скорее грязноватом уголке пляжа подвергали анализу друг друга. Среди их пациентов считалось, что по понедельникам они бывали особенно прозорливы, но я таковым отнюдь не был, когда, отчаянно надравшись в паре попутных кабаков, добрался до невзрачного квартала, в котором, как я, помнится, заметил, кроме Юнкеров, обреталось немало других докторов. Парадное крыльцо, украшенное цветами и фруктами с рынка, было хоть куда, но вам еще предстоит увидеть заднюю дверь. Меня приняла

женская составляющая дуэта — приземистое пожилое существо в брюках, что было очаровательной дерзостью в 1922 году. Эта тема находила продолжение сразу же за окном клозета (где мне полагалось наполнить абсурдный флакон, вполне вместительный для нужд доктора, но не для моих) в представлении, что морской бриз устроил на улице, как раз достаточно узкой, чтобы три пары длинных кальсон на веревке пересекли ее за столько же шагов или скачков. Я позволил себе сделать несколько замечаний об этом и о витраже в кабинете, изображавшем розово-лиловую даму — точь-в-точь как на лестнице виллы «Ирис». Миссис Юнкер спросила, кого я предпочитаю, мальчиков или девочек, и я, посмотрев по сторонам, осторожно ответил, что не знаю, кого она может мне предложить. Она не рассмеялась. Консультация прошла неудачно. Прежде чем заняться моей челюстной невралгией, ей требовалось, чтобы я посетил дантиста, когда протрезвею. Он принимает в доме напротив, сказала она. Точно знаю, что она по телефону записала меня к нему на прием, но не могу вспомнить, пошел ли я к этому дантисту в тот же день или на следующий. Его фамилия была Мольнар, и эта буква «н» была как зернышко в дупле зуба; сорок лет спустя он пригодился мне для «Княжества у моря».

Девушка, принятая мною за ассистентку зубного врача (для которой она, впрочем, была слишком нарядно одета), сидела, скрестив ноги, в прихожей и говорила по телефону. Она не церемонясь указала мне на дверь папиросой, которую держала в пальцах, ни на секунду не прекращая своего занятия. Я оказался в обычной безмолвной комнате. Лучшие места были заняты. Больших размеров стандартная мазня над переполненной книжной полкой изображала стреми-

тельный альпийский поток с упавшим поперек него деревом. В более ранние часы приема несколько журналов переместились с полки на овальный стол, на котором имелся собственный скромный набор предметов: пустая цветочная ваза и *casse-tête*, размером с часики. То был крошечный круговой лабиринт с пятью серебристыми горошинами внутри, которые надлежало терпеливо залучить, осмотрительно вращая запысьем, в центр спирали. Для ожидающих детей.

Таковых не было. В угловом кресле помещался дородный парень с букетиком гвоздик на коленях. Две пожилые дамы, друг с другом не знакомые, судя по светскому промежутку между ними, сидели на коричневой софе. Фатально далекий от них интеллигентного вида молодой человек, вероятно писатель, сидел на мягком стуле с блокнотом в руках, занося в него отдельные записи — вероятно, описания различных предметов, по которым блуждал его взгляд: потолок, обои, картина на стене и гривастый затылок человека, который стоял у окна с сомкнутыми за спиной руками, беспечно всматриваясь поверх плещущих на ветру подштанников, поверх лилово-розового створного окна ватерклозета Юнкеров, поверх крыш и предгорий в далекую горную цепь, где, как мне беспечно думалось, та самая высохшая сосна все еще могла бы лежать мостком над живописным потоком.

Но тут дверь в другом конце комнаты со смехом распахнулась и вышел дантист, румяный, при бабочке, в плохо сидящем празднично-сером костюме и со скорее щегольской черной повязкой на рукаве. Последовали рукопожатия и поздравленья. Я принялся толковать ему, что записан на прием, но степенная пожилая женщина, в которой я узнал госпожу Юнкер, перебила меня, сказав, что это ее ошибка. Тем време-

нем Миранда, дочь хозяина, которую я только что видел, втиснула длинные бледные стебли гвоздик, принесенные ее дядей, в узкое горло вазы на столе, который теперь волшебным образом облачился в скатерть. Под общие рукоплескания субретка поставила на него большой закатно-розовых тонов торт с цифрой 50 каллиграфическим кремом. «Какой очаровательный знак внимания!» — воскликнул вдовец. Принесли чай, одни уселись, другие остались стоять, держа бокалы в руках. Айрис жарким шепотом предупредила меня, что это одобренный пряностями яблочный сок, не спиртное, и я, вскинув руки, отпрянул от подноса, который внес жених Миранды, человек, пойманный мною на том, что он, улучив момент, выверял некоторые пункты приданого. «Мы и не надеялись, что вы заглянете», — сказала Айрис — и проболталась, поскольку это не могла быть та *partie de plaisir*, на которую я был приглашен («У них чудный дом на утесе»). Нет, я полагаю, что большая часть приведенных здесь путаных впечатлений, относящихся к докторам и дантистам, должна быть отнесена к разряду онирического опыта во время пьяной сиесты. Тому есть и письменные свидетельства. Просматривая самые старые свои дневниковые заметки в карманных записных книжках, в которых телефонные номера и фамилии идут попеременно с отчетами о различных событиях, действительных или в той или иной мере вымышленных, я обратил внимание, что сновидения и другие отступления от «реальности» изложены особым, влево клонящимся почерком — во всяком случае, на первых порах, когда я еще не отбросил общепринятого разграничения. Многое, что относится к докембриджскому периоду, написано именно таким почерком (но солдат в самом деле пал на пути короля-беглеца).

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ

ВЗГЛЯНИ НА АРЛЕКИНОВ!

Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Тихомирова

Корректор Елена Шнитникова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 17.09.2019. Формат издания 84 × 108^{1/32}.

Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 18,48.

Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



A-AUP-25688-01-R